

Мих. Лифшиц и Д. Лукач

П Е Р Е П И С К А

1931–1970



GRUNDRISSE

Дьёрдь Лукач  
**Переписка. 1931–1970**

«Издательство Грюндриссе»  
1931–1970

**Лукач Д.**

Переписка. 1931–1970 / Д. Лукач — «Издательство Грюндриссе»,  
1931–1970

ISBN 978-5-904099-07-7

Вниманию читателя предлагается переписка философов Мих. Лифшица (1905–1983) и Д. Лукача (1885–1971). Она относится к 1931–1970 гг. и включает все известные письма. Их оригиналы находятся в Архиве Д. Лукача (Венгрия). За редкими исключениями письма вводятся в научный оборот впервые. В приложении к переписке приводятся 12 документальных материалов, характеризующих официальный исторический фон, на котором эта переписка разворачивалась. Большинство материалов приложения также публикуется впервые.

ISBN 978-5-904099-07-7

© Лукач Д., 1931–1970  
© Издательство Грюндриссе, 1931–  
1970

# Содержание

Предисловие	6
Конец ознакомительного фрагмента.	19

# Дьёрдь Лукач, Михаил Лифшиц Переписка. 1931–1970 гг

Публикация: В.М. Герман, АМ Пичикян, В.Г. Арсланов

Предисловие: В.Г. Арсланов

Перевод писем, написанных на немецком языке: Г.П. Агальцев

Приложение (составление и комментарии): А.С. Стыкалин

Примечания: А.С. Стыкалин (при участии Г.П. Агальцева, В.Г. Арсланова, А.П. Ботвина)

В подготовке к публикации текста переписки принимал участие Д.Катунин

В подготовке к публикации архивных документов принимали участие А. Колин и С. Корсаков

Издание подготовлено Архивом Лифшица и Институтом Лифшица

ООО «Издательство Грюндриссе»

e-mail: [info@grundrisse.ru](mailto:info@grundrisse.ru)

<http://www.grundrisse.ru>



© ООО «Издательство Грюндриссе»

© Архив РАН – Архив Д. Лукача

© В.Г. Арсланов, предисловие

© А.С. Стыкалин, В.Г. Арсланов, А.П. Ботвин, составление, комментарии

© Г.П. Агальцев, перевод с немецкого

## Предисловие

### «Гибель правды есть ее победа...» (Философия и этика Д. Лукача и Мих. Лифшица в свете их переписки)

В.Г. Арсланов

Переписка Дьёрдя (Георга) Лукача<sup>1</sup> и Мих. Лифшица имеет, на мой взгляд, не только историческую, архивную ценность. Ее пронизывает тема, которая стала центральной для начавшегося XXI в. – гибель Великого освободительного проекта, от Сократа до Маркса, по словам Ю. Хабермаса. Как жить в этом «после»?

Написав приведенные в заголовке слова, Мих. Лифшиц продолжает: «...насмешка истории есть победа над ограниченностью, половинчатостью правды»<sup>1</sup>. Ученым тартюфам и шутам гороховым наших дней не приходит в голову, что своими издевательствами над Лениным и революцией они прокладывают дорогу «второй иронии истории». Как и во времена Рабле, их опрокинут не козни соперников и не грубое насилие, а прежде всего, для начала – аристофановский юмор. На этом основан мир, согласно тому марксистскому «Логосу», создать который Лифшиц мечтал совместно с Лукачем еще в 1940-е гг. (о чем свидетельствует их переписка). Но обязательное условие будущей победы – постижение ограниченности не лжи, не заблуждения (что само собой разумеется), а ограниченности самой объективной истины, правды.

Они сошлись, будучи во многом противоположными натурами. Небольшого роста, сухой, с неизменной сигарой в руке – и крупный красивый мужчина, куривший только во время войны и только махорку<sup>2</sup>; один – «good sleeper»<sup>2</sup>, другого всю жизнь терзает злая бессонница. Ученый немецкой складки, «не имеющий души» (известные слова Лукача о себе), автор многолетних исследований, поражающий своей продуктивностью, и «мечтатель», «поэт», «эпикурец», отделяющий свои произведения «под лак», как стихотворение, и затем бросающий написанное в корзину. Да, сказал однажды Лукач, я знаю, что я – плохой писатель, но все же я не такой хороший писатель, добавил он, имея в виду Лифшица, который вообще ничего не пишет. Но «плохого писателя» «Frankfurter Allgemeine Zeitung» почтительно именует «марксистским Паскалем» (см. об этом тоже в переписке), а эссеистика Лифшица практически неизвестна на Западе, хотя Лукач (в письме от 8 ноября 1957 г.) признается Лифшицу: «...не могу не выразить и с моей стороны восхищения Вашим анализом. Удивительно, как в нем мировоззренческое непрерывно переходит в художественное и наоборот. Так должно бы быть всегда – но кто может это делать, кроме Вас? По крайней мере, мне это удовлетворительно удавалось только очень редко».

Различны и посмертные судьбы двух мыслителей. После смерти Лукача создан государственный Архив Лукача (на базе его квартиры и библиотеки) с несколькими штатными сотрудниками, издающий труды философа. В демократической России готовые к изданию архивные работы Лифшица не получили ни одного гранта на издание<sup>3</sup> (исключение – финансовая поддержка Хельсинкским университетом книги «Диалог с Э. Ильенковым»). Российская академия художеств отказалась провести заседание, посвященное 100-летию ее действительного члена. Архив Мих. Лифшица, подготовивший, в частности, настоящее издание – небольшой коллек-

<sup>1</sup> В русскоязычных изданиях имя Лукача писалось по-разному: Георг, Дьёрдь, Дёрдь, Дьердь. В настоящем издании – Дьёрдь.

<sup>2</sup> Хорошо спящий человек (англ.) – так в одном из писем Лифшиц называет Лукача.

тив поклонников творчества философа, не имеющий ни официального статуса, ни финансовой базы.

Но эти факты не могут заслонить главное – то, чем эта дружба способна согреть современного человека. Дочь Е.Ф. Усиевич вспоминала об удивительной атмосфере поистине аристофановского умного и светлого веселья, которая возникала, когда встречались эти люди, участники «течения» 1930-х гг., выброшенные из литературы и оклеветанные. Не менее удивительно и другое.

Много ли известно случаев в истории философии XX в., когда ученый со всемирной известностью, 54-х лет, дарит свою книгу («К истории реализма», 1939 г.) совсем, по нынешним понятиям, молодому человеку с надписью: «Я хочу, чтобы все написанное мною читалось в Вашем свете», приводя слова одного современника Шекспира, обращенные к Шекспиру? Для того чтобы сделать такое признание, хотя бы только наедине с другом, действительно надо «не иметь души»: души как чрезмерной возни «Я» с самим собой. По мнению Лифшица, «нужно иметь много души, чтобы так сказать о себе»<sup>4</sup> Лукач не забывает о своем друге и оказавшись за пределами СССР. В предисловии 1967 г. к западногерманскому изданию легендарной книги «История и классовое сознание» Лукач назвал встречу с Лифшицем «неожиданным счастливым случаем», который – наряду с впервые полностью прочитанными им парижскими рукописями Маркса 1844 г. – вывел Лукача из творческого тупика. Директор Института философии АН СССР Г.Ф. Александров сообщает «высоким инстанциям» в своем официальном отзыве на работы Д. Лукача от 5 сентября 1949 г.: «Вот что пишет Лукач: профессор Лифшиц – "самый выдающийся исследователь марксистской эстетики" в Советском Союзе. Это неправда. В действительности несомненен, – продолжает Александров, – факт, что М. Лифшиц – "выдающийся" космополит и эклектик, недавно разоблаченный философской кафедрой Института международных отношений в Москве. Пропагандировать в демократической Венгрии М. Лифшица в качестве "выдающегося исследователя марксистской эстетики" в Советском Союзе может только такой путаник и эклектик, каким был и остался Дьёрдь Лукач»<sup>5</sup>.

Откроем воспоминания К. Ясперса о М. Хайдеггере – воспоминания о несостоявшейся дружбе, проникнутые, вроде бы, горечью по поводу несбывшегося, от которых веет затхлым духом немецкого университета накануне прихода Гитлера к власти. Вот один штрих, невольный, произвольный жест. Когда вышла главная книга Хайдеггера «Бытие и время», «я, – вспоминает Ясперс, – не оказал ему как старший (он был старше Хайдеггера на 6 лет. – В.А.), целиком поглощенный своей философской работой, услуги основательного чтения и критики, как он сделал по моей "Психологии мировоззрений". В соответствии с этим, разумеется (! – В.А.), и он ко всем моим поздним публикациям со своей стороны больше не обнаруживал интереса»<sup>6</sup>. Очень характерно это «разумеется». И еще один штрих. Ясперс пишет о пристрастии Хайдеггера к «наушничеству»<sup>7</sup>, о его двоедушии и двурушничестве: «Он казался другом, который предаст в отсутствие, но в ответственные моменты был незабываемо близким»<sup>8</sup>. Так предавал Хайдеггер друзей или был все же верен им? «И то, и это; и не то, и не это» – вот логос «нечистого разума». Вы не найдете у Ясперса определенного ответа на самый важный в человеческом отношении вопрос.

«Счастлирое событие» – так называется заметка Гёте о его встрече с Шиллером, в которой Гёте находил нечто демоническое. Почему же демоническое? Потому что «тут кончается искусство, и дышат почва и судьба». Но поэты склонны к преувеличениям, даже такие реально мыслящие, как Гёте. Написавший процитированные выше строки Пастернак вел себя в разговоре со Сталиным о Мандельштаме, по его собственному признанию, «на четверочку». Пастернак не ответил ничего определенного на прямой вопрос Сталина, является ли Мандельштам мастером или нет. «Между нами такое было невозможно», – скажет Лифшиц, по воспоминаниям его дочери А.М. Пичикян, о разговоре Пастернака со Сталиным. В 1934 г., сразу после

убийства Кирова и начавшихся массовых арестов Лукач был обвинен в троцкизме. Лифшиц немедленно отвечает беспощадной язвительной сатирой на клеветников в статье «Безумный день, или Женитьба Фигаро», появившейся в том же самом номере «Литературной газеты», в котором видный партийный деятель А.С. Щербаков обвинит Лифшица в отказе от сталинской теории обострения классово-борьбы – «товарищ Сталин на XVII съезде не так говорил»<sup>9</sup>. В неразберихе тех лет подобные парадоксы были возможны. «Держи вора!» – кричали, пишет Лифшиц, перепуганные люди, чувствуя, что на их голове шапка горит.

Как эмигрант Лукач был наиболее уязвимым звеном в «течении». В 1939 г. в «Литературной газете» появляется статья (Е. Книпович), по сути являющаяся призывом к расправе над Лукачем. Обвинение самое серьезное – проповедь Лукачем термидора (в годы, когда Троцкий писал о бюрократическом вырождении советской власти, о сталинском термидоре). Обвинение не безосновательное: Лукач в своей книге «К истории реализма» действительно доказывал, что термидор – не просто поражение, а осуществление содержания и смысла Французской революции. Обвинение предъявлено влиятельной группой Фадеева – Кирпотина – Ермилова (два первых – секретари Союза советских писателей, авторы докладной записки «Об антипартийной группировке в советской критике», последний – главный редактор «Литературной газеты» в самые мрачные годы сталинизма, автор статьи «О вредных взглядах "Литературного критика"»). Лифшиц незамедлительно отвечает статьей «Надоело». Когда Лукач был арестован в 1941 г. и находился, по словам Лифшица, как Иов, в «чреве китовом», участники «течения» пишут коллективное письмо в защиту Лукача, со всеми подписями. И уже значительно позднее, в «оттепельные» годы Хрущёва и «застойные» Брежнева, Лифшиц отвечает в «Вопросах философии» (№ 1 за 1968 г.) неутомимым преследователям Лукача: «поиск ревизионистов, особенно в других странах, не является прерогативой частных лиц». И об этой его позиции тут же сообщается в ЦК КПСС<sup>10</sup>

Лукач и Лифшиц не были святыми, не хотели и не могли ими быть. Они далеко не во всем и не всегда были согласны друг с другом и не скрывали своих разногласий.

Дружба предполагает, что между людьми закончены все расчеты. Эти слова Гёте напомнила жена Лукача Гертруд в письме к Лифшицу о том, как Лукач тяжело переживает свое молчание в ситуации, когда защита докторской диссертации Лифшица была отменена решением дирекции Института философии в 1944 г. (несмотря на то, что Лукач и другой официальный оппонент, В. Ф. Асмус, дали положительные отзывы на диссертацию). На полях этого письма Лифшиц записывает: «Милая душа, а я и не думал сердиться, зная, что такое эта жизнь. Но момент был злой! Как жаль, что я не могу ее снова увидеть. Читаю и плачу».

«Платон мне друг, но истина дороже», – цитирует Лифшиц известное изречение в своих заметках о Лукаче и продолжает: «Поправка, которую я внес бы в это изречение, поскольку в нашем веке из него (да и раньше) делались ужасные выводы, братоубийственные, предательские. <...> В дружбе также приходится ее конкретно ставить иногда выше истины, взятой абстрактно»<sup>11</sup>.

Лифшиц вспоминает о конце 1930-х гг.: «У меня было отчетливое представление о близости катастрофы. Но... удержать его (Лукача. – В.А.) и других участников "Литературного критика" было невозможно. <...> У меня был выбор, меня сманивали в другую сторону, и это решило бы многие мои личные вопросы. Однако... И я поступил как шляхтич. В конце концов на моей судьбе, даже в наступившие военные годы задиристость "Литературного критика" отразилась больше всего»<sup>12</sup> (см. об этом также письмо Лифшица от 5 февраля 1945 г.). Оппоненты «течения» (покаявшиеся после смерти Сталина и ставшие «либералами» для широкой публики, но ревнителями «марксизма-ленинизма», разоблачителями ревизионистов Лукача и Лифшица для ЦК КПСС Я. Эльсберг, М. Храпченко, А. Дымшиц и их многочисленные ученики, некоторые из которых в наши дни свернули с либерального пути к державничеству и

черносотенству) сумели убедить доверчивую публику, «что никакого Лифшица не было»<sup>13</sup>. А если и был некий «ископаемый марксист», то кого может интересовать этот «инквизитор от марксизма-ленинизма» (слова одного автора, авторитетно утверждавшего в эпоху свободы слова и гласности: «до меня никто не осмеливался открыто критиковать его взгляды на искусство»)?

Почему же он поступил «как шляхтич» (помня, конечно, слова Ленина о горе-марксистах, марксистах-шляхтичах)? Потому что дружба – это тоже истина, «определенный полюс ее»<sup>15</sup>. Когда при соединении двух индивидов получается арифметическая сумма их достоинств и недостатков, тогда перед нами деловая связь. А когда возникает нечто большее, то это нечто – идеальное, *das Ideale*. Последнее так или иначе – «заем у бесконечности»<sup>16</sup>. Люди, классы, народы черпают силу, примыкая к бесконечному целому, к абсолюту. Но совершается этот платоновский метексис не в мистической форме, а конкретно, в форме примыкания, например, к другому человеку.

Первая же архивная заметка Лифшица о Лукаче вводит нас в мировую историю, столь же бездонную и многомерную, как история о Христе и Понтии Пилате у М. Булгакова: «А вы думаете, что Тертуллиан был дурак верить в абсурды? Или мошенник, приспособляющийся к принятому учению?»<sup>17</sup>

Что произошло с Лукачем в 1918 г., когда он, написав статью о неприемлемости большевизма с нравственной точки зрения, вступил в Коммунистическую партию Венгрии? Отошедшие от «лукачизма» бывшие ученики Лукача объясняют его поворот в 1918 г. столь же прагматично и рационально, как вульгарный марксизм объяснял факты христианского озарения: «Ведь Лукач знал, что большевизм несостоятелен, и тем не менее хотел в него верить, ибо совершенно не мог уже уцепиться ни за что другое. <...> если коммунизм даже в момент его выхода на сцену истории нельзя было принимать, не "пожертвовав разумом" то теперь, зная его историю, можно ли держаться за него и интеллектуально его оправдывать?»<sup>18</sup>

В самом деле, для Лукача, автора статьи «Большевизм как моральная проблема», «выбор между двумя позициями, как любой кардинальный моральный вопрос, – это вопрос веры»<sup>19</sup>. Решающей является «чистота непосредственного убеждения», ибо радикальный поворот в истории всегда совершается лишь тем или иным «Спасителем мира»<sup>20</sup>, а им не может быть мошенник просто потому, что он весь – в старом, умирающем бытии. Но является ли большевизм «Спасителем мира»? По-видимому, да, пишет Лукач в этой своей статье, ибо большевизм предпринял грандиозную попытку «подвига скорого» (слова старца Зосимы из романа Достоевского, процитированные Лукачем) – попытку непосредственного действия и победы над злом, здесь и сейчас. А социал-демократия, продолжает Лукач, предлагает долгий обходной путь, путь компромиссов и жертв, в том числе и в первую очередь она требует принести в жертву «чистоту непосредственного убеждения». Но скорый подвиг большевизма возможен лишь при условии, что он прибегает к злу, к убийству, и для него тем самым цель оправдывает средства. «Автор этих строк, – заключает Лукач, – не способен разделить подобную веру и потому видит в основе большевистской позиции неразрешимую моральную проблему, в то время как демократия – автор этих строк глубоко верит в это – требует лишь сверхчеловеческого самоотречения и самопожертвования от тех, кто сознательно и честно хочет идти по этому пути до конца»<sup>21</sup>.

В следующей своей статье «Тактика и этика» Лукач повернулся на 180 градусов – она уже посвящена «молодому поколению Коммунистической партии». «Всякий компромисс», «любая солидарность с существующим общественным порядком», вступление на пути «реальной политики» «имеет роковое и губительное значение» для социализма, утверждал он. Эту позицию молодого Лукача Лифшиц позднее назовет марксистским гностицизмом: последний,

как известно, отказывался от компромисса с материальным греховным миром. Для Лукача социализм есть вступление в общество, где нет насилия, где нет классовой борьбы, и потому не может войти в это новое мировое состояние тот, кто не отряхнет праха старого со своих ног. Следовательно, вместо компромиссов – радикальное отрицание.

Радикальность гностицизма, как известно, была отвергнута христианской церковью и заменена более гибкой политикой. С одной стороны, компромисс с грешным миром, «кесарю – кесарево, а богу – богово». Но с другой – изгнание торгующих из храма и «легче верблюду войти в игольное ушко, чем богатому в царствие небесное», «кто не за меня, тот против меня». С одной стороны, христианское самоотречение смирения, с другой – религиозные войны, инквизиция. В самом деле, нравственно ли мы поступим, смиряясь, отойдя в сторону, когда насильник убивает на наших глазах ребенка? И мы никак не можем остановить убийства ребенка, кроме как насилием над насильником?

Эту дилемму молодой Лукач решает, обратившись к центральной для «течения» 1930-х гг. теме трагического. Убийство – всегда зло, всегда преступление, даже если приходится убить насильника. «...Этическое самосознание указывает как раз на то, что существуют ситуации – трагические ситуации, в которых невозможно действовать, не навлекая на себя вины...»<sup>22</sup>, и «акт убийства, совершенный человеком, который непоколебимо и без всяких сомнений знает, что убийство нельзя оправдать ни при каких обстоятельствах, может иметь трагическую моральную природу»<sup>23</sup>. Свою статью, повторяем, посвященную молодому поколению Коммунистической партии, Лукач заканчивает цитатой из «Юдифи» Геббеля: «И если Бог ставит между мной и возложенным на меня делом грех, то кто я такой, чтобы от него уклониться?»

Грехом Лукач считал компромиссную «реальную политику» социал-демократии и был готов принять на себя этот грех, пожертвовать чистотой своей совести – ради демократии. Но затем его осенило (и не только его, В. Беньямина не в меньшей степени, к примеру, тоже): социал-демократия потворствует массовой бойне Первой мировой войны, она совершает убийства, она организует подавление революции в России и в любом другом месте земного шара. И вот «буквально за какую-то неделю он обратился в новую веру: из Савла превратился в Павла»<sup>24</sup>

И при этом остался верен себе. Ибо и в том, и в другом случае самоотречение и самопожертвование было неизбежным. И в том, и в другом случае Лукач выбирал для себя и своего поколения трагическую вину – вместо вины уголовной, вины тех, кто, уклоняясь от трагической ответственности, увековечивал самое подлое и самое отвратительное насилие. Это вывод тех глубоко верующих христиан, которые поняли, что «в спасении души нет спасения». Последние слова процитированы Лифшицем в его известной статье 1960-х г. «Ветер истории»<sup>25</sup>, в которой центральная проблематика – нравственная.

Коллизия, которую решал и в которой объективно находился молодой Лукач (ему, правда, к 1920 г. исполнилось 35 лет), была примерно та же самая, что осмысливалась «марксистским экзистенциализмом» и абстрактным марксизмом (связь между ними видел Лифшиц<sup>26</sup>). А. Кожев в своих лекциях о Гегеле (на них воспитывался, в частности, Сартр) рельефно выявил гегелевскую идею о том, что только перед лицом своей смерти, не испугавшись ее, человек начинает работу самопознания и самостановления объективного мирового духа. Лукач пошел дальше, показав, что есть две формы самопожертвования, и только верно найдя одну из них, можно встать на путь развития, другой путь ведет к разложению и гибели. Критерий для молодого Лукача, автора «Истории и классового сознания», очевиден: одна из дорог ведет к осуществлению истины истории, к решению ее загадки, к спасению рода человеческого, а другая – к гибели человека и культуры.

Но как найти истину истории? Можно ли познать истину? Вопрос Канта оставался, по мнению Лукача, трагически неразрешимым для всего Нового времени. Виною тому – объек-

тивное искривление реальности, когда созданная человеком предметность кажется, и эта видимость существенна для капитализма, обособленным от субъекта объектом, чем-то от него независимым, природным, и в качестве природной силы господствующей над человеком. Но как только исторический коллективный субъект, пролетариат, овладевает созданным им предметным миром цивилизации, то эта объективная видимость, т.е. кантианская пропасть между субъектом и объектом, снимается, обнаруживается действительное тождество между субъектом и объектом. Пролетариат выступает в качестве «Спасителя мира» потому, что он не может освободить себя, не присвоив всех созданных человечеством сущностных сил.

Суть изложенной схемы исчерпывающе ясно изложена Лукачем в примечании к одной его ранней статье. Проясненное немецкой классической философией понятие сознания означает «ту особую стадию познания, на которой субъект и познанный им объект являются гомогенными (однородными. – В.А.) по своей субстанции, на которой, стало быть, познание совершается изнутри, а не извне. (Самым простым примером этого является, – продолжает Лукач, – моральное самосознание человека, то есть чувство ответственности, совесть, чему противоположностью является познавательный метод естественных наук, где познанный объект, несмотря на свою познанность, остается вечно чуждым познающему субъекту.) Главное значение этого познавательного метода состоит в том, что простой факт познания вызывает существенное изменение в познанном объекте: иными словами, та тенденция, которая присутствовала в объекте и раньше, посредством познания становится – благодаря своему осознанию – более достоверной и сильной, чем она была и чем без этого она могла быть прежде. Но этот познавательный метод, – заключает Лукач, – ведет также к тому, что исчезает различие между субъектом и объектом, а потому – также различие между теорией и практикой»<sup>27</sup>.

Вот на этой, по сути, неокантианской позиции остановился и остается до наших дней так называемый неомарксизм, или «творческий марксизм», иначе именуемый деятельностной теорией сознания, возникший почти 90 лет назад под влиянием книги Лукача «История и классовое сознание». Сам Лукач к моменту приезда в СССР, к 1930 г., уже разошелся с возникшей под его влиянием Франкфуртской школой и находился в творческом тупике (Институт социальных исследований во Франкфурте-на-Майне («Франкфуртская школа») создан в 1929 г. Сведения о том, что к 1930 г. Лукач разошелся с Франкфуртской школой, почерпнуты мною от Лифшица). Что же его не удовлетворяло в собственном детище?

Лукач был не фантазер, не создатель умственных схем, а прежде всего реально и трезво мыслящий человек – черта, свойственная тем, у кого слова не расходятся с делами. К 1930-м гг. многим стало ясно, что революция зашла в тупик, что совершена ошибка. По свидетельству Лифшица, на дискуссии (1930 г.) в Институте Маркса и Энгельса под председательством Д. Рязанова обсуждался вопрос об ошибке Маркса, допущенной им в революции 1848 г., а имелась в виду революция Октябрьская<sup>28</sup>. Однако если перед нами не временный сбой в ходе революции, а ее катастрофа, то либо вожди не доросли до высоты масс, либо сама эта революция – ошибочная, не имеющая исторического оправдания. Ибо истина истории есть тождество субъекта и объекта, а тут, оказывается, между ними опять если не пропасть, то щель.

Лукач снова обращается к исследованию трагической ситуации и выясняет, что для Маркса и Энгельса трагедия не в том, что вожди оказались ниже исторической задачи (так думал Лассаль, автор трагедии «Франц фон Зикинген») – такое бывает, и очень часто, но это не трагедия, а просто ошибка. Трагедия тогда, когда ошибка неизбежна именно для тех и прежде всего для тех, кто прав в самом глубоком, всемирно-историческом смысле слова. Ибо в истории бывают ситуации, когда совершение действия необходимо для продвижения истории и совершают это действие те, кто правильнее всех понимает эту необходимость истории. Но вместе с тем политики, владеющие истиной ситуации, обречены на поражение, ибо полная победа их впереди, а сегодня они должны погибнуть, ситуация не позволяет им победить, однако, погибая в борьбе, они сдвигают с мертвой точки мировую историю. Такова, по мнению классиков

марксизма, трагическая коллизия Томаса Мюнцера. Исследование Лукача на эту тему (оно было опубликовано в 1932 г.<sup>29</sup>) – его большое достижение, по мнению Лифшица.

Однако из такого понимания трагедии следовало сделать мировоззренческие, философские выводы. Если не только в предшествующей истории, но и в борьбе пролетариата возможна – и даже неизбежна – щель между субъектом и объектом как отражение щели в самой действительности, в объективном мире, то каков же тогда критерий истины? Или истиной будет отражение неистинной, искривленной действительности (таков вывод неомарксизма, Франкфуртской школы, А. Хаузера и т. н. «вульгарной социологии» в СССР), и истиной мы должны признать правдивое отражение объективной лжи, кривизны реальности, или мы возвращаемся к агностицизму Канта. Кажется, другого выхода нет?

Но лучше Кант, полагает Лифшиц, чем неокантианство, неомарксизм и вульгарная социология. Ибо агностицизм Канта вырос из сильной стороны его концепции деятельности – понимания того, что не мы создали природу и, следовательно, природа не может быть продуктом нашей опредмечивающей деятельности. Лукач слишком легко решил эту проблему в «Истории и классовом сознании», объявив природу общественной категорией.

Фихте, Шеллинг и Гегель решили проблему Канта гениально просто: сама природа есть не что иное, как деятельность субъекта, но не эмпирического, а трансцендентального (абсолютного субъекта Фихте и Шеллинга, абсолютной идеи и мирового духа Гегеля). Автор «Истории и классового сознания» заменил абсолютного субъекта коллективным, пролетариатом, который творит осознанно историю и тем отличается от действующего эмпирического субъекта предшествующей истории, который не понимает, что он делает, и поэтому не может быть тождественным объекту. Но как быть с объективным заблуждением не прошлого, а настоящего, не буржуазных мыслителей и практиков, а Маркса и Ленина, заблуждением, в котором, однако, – высшая правда времени? Если и они заблуждались, то где объективная точка отсчета, критерий истины, который молодой Лукач находил в тождестве субъекта и объекта?

В дискуссии 1930 г. под председательством Д. Рязанова Лифшиц выступил с концепцией истории, которую Д. Рязанов назвал «эстетической»<sup>30</sup>, поскольку она, писал по этому поводу Лифшиц в статье «Ветер истории», «делает трансцендентальную точку зрения «обыкновенной», т. е. наглядно связывает наш обычный мир с бесконечностью»<sup>31</sup>. Позволю себе проиллюстрировать суть этой точки зрения на примере полемики Лифшица с Лосевым, и не только с ним, но и с Гегелем в толковании одного места у Гомера. Разгневанный Ахилл хочет убить Агамемнона, он хватается за меч, но ему является Афина, успокаивает его и заставляет вложить меч в ножны. Гегель, а за ним и Лосев, рационалистически толкуют этот момент: Афина – это отчужденный от Ахилла образ его собственной воли, его истинного сознания, которое в иллюзорном образе Афины заставляет погасить чувственный аффект. Другими словами, субъект тут работает с самим собой, более интеллигентная его сторона, трансцендентальная, подчиняет себе эмпирическую.

Лифшиц иначе толкует эту ситуацию. «Собственно, – пишет он на полях книги Лосева, – это диалектика и очень умно. Боги – остаток глубокого прошлого, но и способ понимания того или выражения того, что выходит за пределы рассудочной обыденности»<sup>32</sup>; «... здесь важно то, что поворот (речь идет о смирении гнева Ахилла Афиной. – В.А.) является как бы внешним, ибо все же есть действительная внешность ситуации, которая решает»<sup>33</sup>.

«Внешность ситуации» – это то, что в переписке с Лукачем Лифшиц именуется «марксистским богом». Разум не столько в нас, сколько в реальных, существующих вне нашего сознания, созданных бесконечностью ситуациях, называемых Ф. Бэконом «прерогативными инстанциями» – такова отправная точка онтогносеологии Мих. Лифшица. Существование таких реальных точек разумности, «априорных фактов» в объективном мире свидетельствует, согласно

материализму Лифшица, о том, что парменидовское Единое, «Идея» Платона или Бог – не пустая выдумка.

Лукач, примкнув к московскому «течению», преодолевал абстрактный марксизм, из которого вырос экзистенциализм с его роковой свободой человека, свободой в бессмысленном бытии, в которое человек заброшен (позитивистский марксизм Лукач начал преодолевать уже в своей книге «История и классовое сознание», которую Лифшиц оценивал высоко, находя в ней «что-то напоминающее безличный анализ Denkformen<sup>3</sup>»<sup>34</sup>).

Как ни странно, но, сделав после 1930 г. шаг вперед, Лукач вместе с тем совершил, возможно, в некотором отношении два шага назад<sup>35</sup>. Дело в том, согласно Лифшицу, что «Лукач и Корш, как и у нас Богданов, смешали буржуазную рассудочность с отражением»<sup>36</sup>. И это смешение не было до конца преодолено Лукачем, хотя и отказавшимся от своего гностицизма эпохи «Истории и классового сознания».

Вернемся к прерванной логике наших рассуждений. Когда стало ясно, что пролетариат и его вожди в 1917 г. совершили трагическую ошибку, то бывшие социалисты, такие как Оруэлл, стали писать пародии на социализм, изображая его «скотным двором». Они, согласно логике Франкфуртской школы, правдиво отражали ложь, кривизну самой реальности! Другие превращались в циничных сталинистов. Но Лифшиц и Лукач в этой поистине страшной ситуации (массового раскулачивания и затем возмездия за него – 1937 г.) почувствовали, уловили какой-то ветер истории в мире искривленного, ложного «социализма». Его уловил и Андрей Платонов, у которого в «Ювенильном море» электричество – вопреки всем законам науки и разума – действительно стало получаться каким-то чудом из ничего, из дневного света. Вот почему в этой повести Платонов столь иронически изобразил бухаринский план построения социализма. Разумеется, он, как и участники «течения», не стал сталинистом. Так что же из себя представлял тот «ветер истории», который наполнил паруса в том числе и сталинской бюрократии, ибо она оседлала этот необъяснимый порыв и прорыв истории?

«Не могу скрыть от вас, дедушка, – писал Лифшиц в своем памфлете 1965 г., – что сначала это возведенное в принцип презрение к объективным условиям показалось нам с И. Жуковым очень странным, каким-то даже новым проявлением детской болезни "левизны" неуместной в марксизме. Но потом мы пришли к выводу, что эта черта получила такой монументальный рост, что ее тоже нужно принять в расчет и причислить к объективным условиям. В большом потоке, который рванулся куда-то в неведомое и завертел нас, как щепки, много было такого, что хоть плачь. Столько всяких ненужных, нелепых, иррациональных затрат и жестоких деяний, что хватило бы на три исторические трагедии. Но миллионы людей пришли в движение – поход, война, ну, словом, что-то значительное, даже возвышенное. На болотах росли города, в пустыне зажглись огни современной индустрии»<sup>37</sup>.

Вот реальная причина возникновения сталинского мифа, большой утопии, имеющей массовый, почти религиозный, квазирелигиозный характер в стране, где в это время самым варварским способом разрушались христианские храмы, в стране воинствующего атеизма.

Религиозное, как и квазирелигиозное, сознание порождено ощущением щепки, которую завертел и понес куда-то могучий поток. В этом ощущении и в этом сознании есть великая правда – постижение исторической необходимости, действительный смысл которой по тем или иным причинам не доступен сознанию субъекта. Разве понимали христиане первых веков нашей эры, куда несет их исторический поток? Могли они предполагать кровопролитные религиозные войны и действия инквизиции, с одной стороны, а с другой – фантастический технический и научный прогресс европейской христианской цивилизации? Но в их «верую, ибо абсурдно» был отказ от узкого рационализма, в их готовности приносить величайшие жертвы

---

<sup>3</sup> Мыслительные формы (нем.).

было сознание более высокое, чем любые рациональные доводы противников христианства. Так что же представляла собой эта правда, которая не была продуктом деятельности самого субъекта, созданием его внутреннего мира, его внутренней логики? Правда, которая, согласно первому тезису теории отражения, требовала безусловного подчинения субъекта тому, что вне него?

В безусловном приоритете того, что христиане называли богом (а Маркс, вслед за Гегелем, – действительностью), над субъектом, над его малым бытием и его психологией – неотъемлемая черта религиозной веры. Задача субъекта – не лезть к богу со своим «бедным, заносчивым умишком» (слова Белинского), предъявляя богу свои узкие расчеты и соображения, свои упреки и свои претензии к миру, а прежде всего стать «чистой доской», способной отразить божественную правду, превосходящую все наши субъективные мнения и измерения<sup>38</sup>. «Недаром начало Божией мудрости и созерцания, – писал византийский теолог, – есть страх Божий: не уживаясь с иными богами, избавив душу от всякой скверны и как бы разгладив ее молитвою, он делает ее, словно дощечку для письма, пригодной для запечатления дарований Духа»<sup>39</sup>. Зачатки онтологической гносеологии, учения о том, как само бытие идет к своему познанию, формируя для себя те «чистые доски», *tabula rasa*, в которых оно отражается, находим не только в первоначальном христианстве, но и гораздо раньше – в древней мифологии. «В действительности не мы мыслим и чувствуем объективную реальность, – доказывал Лифшиц, – она мыслит и чувствует себя нами»<sup>40</sup>.

Вот второй важнейший тезис теории отражения, как ее понимал Лифшиц, который гласит: зеркало субъекта вторично потому, что оно есть отражение и выражение зеркальности объективного бытия. И эта мысль была известна христианским теологам: Бог «являет себя очистившемуся уму как бы в зеркале, сам по себе оставаясь невидимым, потому что таково свойство зеркального образа: он и очевиден, и его не видеть, потому что никак невозможно одновременно глядеть в зеркало и видеть то, что отбрасывает в него свой образ»<sup>41</sup>. Бог в таком толковании есть свойство действительности, благодаря которому вещи становятся видимыми, понимаемыми, отражаемыми, иначе говоря, бог есть зеркальность бытия, т.е. «свет, разлитый по всем видимым вещам»<sup>42</sup>.

Разумеется, коперниковский переворот материалистической теории отражения вовсе не был возвратом к религии и мифологии, но он был связан с раскрытием той великой правды, которая породила эти первые акты человеческой сознательности. Смее утверждать, что именно такое, или близкое, понимание теории отражения увлекло Лукача в 1930-е гг., о чем говорит прежде всего его великолепная продукция этого времени. Возьмите хотя бы «Исторический роман» Лукача, раздел о Вальтере Скотте, в котором замечательно развернута и продемонстрирована относительная правота отсталых шотландцев в их борьбе с более передовой Англией.

Передовые, «прогрессивные» мыслители и идеологи более логичны, ясны, последовательны, ибо концы с началами у них увязываются. А у «отсталых» шотландцев или у первых христиан, у русских крестьян накануне революции с их лозунгом «земля ничья, земля божья» такой логической правильности вы не найдете, потому что реально логика их нелинейна. Рассуждения о нелинейной логике сегодня можно обнаружить в любой мусорной корзине, по выражению Лифшица, тогда как онтологическая теория нелинейного мышления, разработанная «течением», остается, как и вчера, вне умственного горизонта современности.

В сознании первых христиан и русских крестьян отразилось то, что в самой реальности еще не приняло окончательной формы, не связалось, но эта неоформившаяся тенденция заключает в себе могучую силу истины, которая будет формировать жизнь людей, ведя их к неведомому пока будущему. И потому подлинное различие между «темными», смутными идеями первых христиан и «отсталых» шотландцев, с одной стороны, и рациональным мышлением

поздней античности и прогрессивных англичан, с другой, это различие – не в форме (смутных чувств, интуиции – и строгой логики, доказательности), а в содержании. Глубокое содержание формально более отсталых, консервативных слоев населения может быть в определенных условиях более прогрессивным, более истинным по сути. Когда Лифшиц доказывал, что искусство есть прежде всего мысль, то он не только хотел тем самым подразнить «всякую сволочь, вроде Эльсберга», бывших сверхортодоксов, ныне «болтающих о "специфике искусства"»<sup>43</sup>. Лифшиц доказывал, что самые глубокие мысли могут существовать не только в форме строгих силлогизмов. «Возможно ли мышление без слов, услышанных по крайней мере одним человеком в глубине его души, без *verbum mentis*<sup>44</sup>? Возможно, поскольку оно опирается на явления чувственной действительности, на молчаливые образы ее, заключающие в себе реальный смысл»<sup>44</sup>.

Выдающаяся книга Лукача «Молодой Гегель» (посвященная Лифшицу) на огромном фактическом, историческом и философском материале разрабатывала центральную идею «течения» – идею «великих консерваторов человечества», которые высоко поднялись над своим временем, над более стройно, демократически мыслящими современниками (такими, например, как Робеспьер) не только вопреки, но в известной степени и благодаря своей консервативности, в иных случаях – даже реакционности.

Не только вопреки, но в известной мере и благодаря иррационализму христианской веры рос объективный разум европейской цивилизации. В известной мере не только вопреки сталинской бюрократической машине, иррациональности нового квазирелигиозного культа, «культа личности» (впервые этот термин Лифшиц услышал от своего преподавателя философии, Сарабьянова, очевидно, еще в 1920-е гг.), но в определенной мере и благодаря им «на болотах росли города, в пустыне зажглись огни современной индустрии», была одержана победа в войне, совершен прорыв в космос и создана первая в мире атомная электростанция... Всемирно известный пианист и дирижер М. Плетнёв, живущий ныне на Западе, недавно сказал по центральному телевидению, что в СССР была лучшая в мире массовая музыкальная школа. Но цена этих побед непростительно высока! – справедливо говорим мы сегодня. Она могла быть меньше, если бы не крайняя левизна вчерашних бурсаков и обывателей, ставших, может быть, от страха суперреволюционными. Но для того, чтобы заплатить эту непомерно высокую цену, надо было иметь реальный кредит истории, позволивший совершить «заем у бесконечности». В этом кредите Франции, например, было отказано – и вся практически континентальная Европа оказалась под властью фашизма, в том числе и духовной.

Как и во всякой народной религии, в подъеме 1930-х гг. был не только самоистребительный безумный компонент, но и «что-то значительное, даже возвышенное». Христос потерпел на земле «позорное» (по определению христианских теологов) поражение – открывшее, однако, дорогу для спасения всех людей (увы, и для порабощения их тоже!). Каждая великая эпоха открывала для себя заново эту фабулу, достаточно вспомнить хотя бы о Шекспире. Что добавила к ней наша эпоха? «Если на другой день после Октября не совершилась мировая революция... то свершилась мировая реформа...»<sup>45</sup>. Эта точка зрения ныне принята некоторыми авторитетными историками XX века на Западе<sup>46</sup>. Правда, в любой, самой глубокой и народной религии всегда присутствовало не только «благодаря», но и «вопреки»: реальная мысль пробивала иррациональную форму ее существования, время от времени происходило то, что Макс Дворжак называл «открытием самоценности земных вещей» (обусловившее, по мнению австрийского искусствоведа, художественный взлет готики, не говоря уже о Ренессансе). И все же в конечном счете преобладало «благодаря».

<sup>4</sup> Слово ума (*лат.*), т. е. слово, сказанное «про себя» – в отличие от *verbum vocis*, слова произносимого.

Однако XX в. – не I в., и «революция сверху» 1930-х гг. – не массовое движение первых христиан, соотношение между «вопреки» и «благодаря» существенно изменилось. Лифшиц писал об энантиодромии первых месяцев войны, когда рухнула идеологическая и военная система, основанная на лжи, и когда люди поняли, что им есть что защищать, и они сами нашли опору в неискаженной правде социализма – великий перелом сознания масс, классическим выражением и отражением которого явился «Василий Тёркин» А. Твардовского. Увы, победа в этой войне, как стало ясно Лифшицу в последние ее месяцы, привела к усилению власти Сталина, квазирелигиозный миф вернулся в самой отвратительной, черносотенной форме. Письма Лифшица 1945–1946 гг. – может быть, самые трагические в его жизни.

Ключ к нашей истории – в понимании того, «почему Иван Денисович молчаливо поддерживал Сталина. И почему он впоследствии не молчаливо, но грозно смотрел на его деяния»<sup>47</sup>. Но уже без всякого благодаря, а только вопреки сталинистской идеологии и ее проповедникам, митиным и ермиловым, и таким бывшим «сверхортодоксам», как Л. Копелев и его жена Р. Орлова, ставшим затем либералами, – рождалась мысль XX века, отразившая в себе мысль миллионов, объективную логику реальности.

Вот почему главный пафос фундаментального труда Лукача «Своеобразие эстетического» – освобождение от «благодаря», т. е. от религиозного, а тем более квазирелигиозного сознания сталинизма как первостепенная задача дня. При полном сохранении уважения к искренне верующим людям, «святым», по словам Лифшица, сидевшим в лагере вместе с Иваном Шуховым («старик, Алешка-баптист», которому, замечает Лифшиц, «Лакшин хочет немножко сбавить цену за его сектантство»<sup>48</sup>). Но поклонники Р. Гароди, а затем Н. Бердяева и В. Розанова Лифшицу, как и Лукачу, отвратительны: «По секрету скажу вам, милый дедушка, что я скорее пойду к отцу Никодиму в настоящую церковь, чем в этот прогрессивный кафешантан»<sup>49</sup>.

Заигрывая с религией, т. н. «творческий марксизм» Р. Гароди или Ю.Н. Давыдова (ставшего затем антикоммунистом) безыдеален по сути, он – соединение таких крайностей, как сциентистский номинализм (тесно связанный с субъективизмом и более отдаленно – с кантианской идеей трансцендентального субъекта) и мистика. Позднего Лукача Лифшиц упрекал за недооценку этой опасности: «Здесь я, пожалуй, ближе к экзистенциалистам и онтологам. У Лукача своего рода остаток трансцендентального, целеполагающего существа. Для меня весь смысл на стороне бытия»<sup>50</sup>.

Но третий пункт коперниковского переворота теории отражения качественно отличает ее и от хайдеггеровской алетейки как «просвета бытия». Ибо зеркалом и «просветом бытия» человек становится, доказывал Лифшиц, только вызывая ответ мира на себя и тем самым субъективизируя объект. Пересоздание мира заключается не в том, чтобы уже существующее «вывернуть сущностью наизнанку», а в том, чтобы довести вещи до их первообраза, идеала. Только изменяя, можно познавать, доказывает неомарксизм. Эта мысль верна для Лифшица в том случае, если наше вмешательство в бесконечную реальность доводит бытие до его нормы, возвращает мир к самому себе. Без человека, развивает Лифшиц мысль Герцена, природа не полна, более того, она – природа только в абстракции, в пересоздании природы человеком природа возвращается к своей норме, которая для Лифшица – не абстракция, а нечто в высшей степени реальное. Существование человека получает онтологический смысл, вместе с тем далекий от сциентистских космологических фантазий. Лифшиц, по собственному признанию, ближе к средневековому реализму и, может быть, к тем христианским мыслителям, для которых Бог нуждается в человеке и его разуме, чтобы стать вполне Богом (таков, по словам Маркса, «великий Себастиан Франк – настоящий мистический пантеист»).

Эта идея зрела в полемике «течения» с вульгарной социологией: не выворачивать Пушкина наизнанку, демонстрируя узкие классовые интересы дворянства, а раскрыть, как Пушкин

доводит до идеала, до первообраза идею России, постигая ее судьбу, еще не вполне развернувшуюся в истории. Причем удалось это сделать Пушкину потому, что он, принадлежа к великой дворянской культуре, благодаря этой культуре, а не только вопреки ей, поднялся до народной точки зрения, что замечательно показано Лукачем в его статье о Пушкине<sup>51</sup> 1951 г. Идеальное, создаваемое человеком (в данном случае Пушкиным), способствует тому, что вещи становятся видимыми, т. е. природа возвращается к самой себе, и без человека, его свободы, его разума такое возвращение природы к себе невозможно. Последнее добавление – идея Лифшица, а у Лукача рано созрела мысль, что «свобода не может быть лишь плодом, результатом развития, в развитии должен наступить такой момент, когда она становится одной из его движущих сил»<sup>52</sup>. В частности, без идеальных образов, созданных искусством, природа еще не становится вполне видимой, постигаемой – эти образы доводят природу до полноты зеркальности (божественности, как сказал бы Григорий Палама), способствуя пересозданию ее. Однако из этого не следует, что материальная и духовная деятельность, теория и практика в идеале тождественны, как думал молодой Лукач, а за ним – неомарксисты.

«Ни одна вещь на свете не сводится к одной тенденции», – писал Лифшиц. Отличая истинное, «симфоническое» тождество от тождества крайностей, Лифшиц не останавливается на этом различии, а идет дальше по дороге дифференцирования. В ходе развития то, что ранее было отброшено как ложное, может оказаться истинным. Таково возвращение христианства к трансцендентному мировоззрению Древнего Востока после античной философии. Подобно тому, как ложь политрука, выводящего отчаявшихся людей из окружения, об открытии второго фронта – «благородный вымысел, по терминологии Платона»<sup>53</sup>. Когда на тебя летит пикирующий бомбардировщик, что остается? – Молиться, отвечает Лифшиц. Это не мольба о помиловании, а обращение к «марксистскому богу» как непосредственный контакт с абсолютным началом мира ради того, чтобы остаться верным избранному пути. Сколько суперреволюционеров 1920–1930-х гг., видевших в Лифшице «декадента», консерватора, поклонника Шпенглера и Вико, сломалось, «сошло с рельсов», не выдержав крутых поворотов истории! Достаточно вспомнить, как закончили свою жизнь А. Фадеев, В. Ермилов, Я. Эльсберг, В. Кирпотин. Нет, не им, а Лифшицу суждено было оказаться «последним марксистом», солдатом марксизма, не покинувшим свой пост до конца. В чем причина такой поразительной прочности «марксистского Логоса» Лифшица и Лукача?

«Логос» Лифшица непоколебим именно потому, что он – подвижный и изменчивый, но эта изменчивость есть гибкость мысли, которая опирается на безусловные грани, которые перейти нельзя. Отношение Лифшица и Лукача к модернизму в широком смысле слова и к либерализму – красноречивое свидетельство тому (несмотря на определенные разночтения: Лукач, в отличие от Лифшица, не считал, что либерализм в 1950–1970 гг. более опасен, чем догматизм, смотрите об этом их переписку и комментарии к ней в настоящем издании).

Только по этой причине они могли быть бесконечно гибкими. Доходя, как Лукач, до тертуллиановского этического максимализма: «Лучше быть заключенным в социалистическом лагере, чем профессором в буржуазном университете». И до отказа от дачи показаний против Имре Надя: когда мы вместе будем на свободе, тогда возобновим наш спор<sup>54</sup> О поразительном мужестве Лифшица в страшные 1930-е гг. пишут А.А. Тахо-Годи и Т.М. Коваленская, Н.А. Барская и другие свидетели.

Каков источник этого бесстрашия? «Я помню, как однажды, – вспоминает Лифшиц в своих "Беседах" – в позднейшие, более трудные годы, Елена Усиевич, судорожно схватив меня за руку, сказала: "Мы бессмертны!"»<sup>55</sup> Для человека периода первоначального христианства, не имеющего шансов на осмысленную и гуманную жизнь Пушкина, Гёте и Демокрита, материалистическое понимание бессмертия лишено смысла. Но за веру в христианское личное бессмертие человечество заплатило высокую плату. Развивая мысль Лессинга об истинном муже-

стве греков в отличие от бесчеловечных римлян, Лифшиц писал под впечатлением кончины Лукача: «...если даже кто-нибудь торжествует над всем, как факир, то это ведь тоже только игра природы. Есть люди, способные есть стекло, есть истерички, которые могут выдержать испытание каленым железом, средневековый «божий суд». Гордиться здесь особенно нечем. Это не человечно»<sup>56</sup>. Ибо такое мужество – крайность и парадокс бесчеловечного мира.

Фанатик имеет свои преимущества перед Гёте и Спинозой, его самоотверженность есть определенный предел человеческой природы. Но на другом полюсе того бытия, где возможен подвиг «святости» – темнота, идиотизм основной массы населения, голод и пытки на дыбе. Лукач и Лифшиц предпочитали демонизм Пушкина и Моцарта как предвосхищение свободы и гуманной нравственности для всех. Они, подобно Гёте и Марксу, фабульный мир свободы и высокого человеческого достоинства, в котором за явление идеального в реальном не надо платить кострами для иноверцев и дикостью массовых человеческих жертвоприношений, самоуничтожением и страхом, ставили выше веры в личное бессмертие. В мире бессмертного творчества природы, освобожденного и очеловеченного, метафизические хайдеггеровские страх и забота, сопровождаемые гнусным и мелочным интриганством, исчезают, заменяясь светлым пушкинским: «И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть, И равнодушная природа красою вечною сиять». В этом мире, где сияние вечной красоты – его онтологическое качество, природа уже не равнодушно, а с равной душой относится и к мотыльку-однодневке, и к гигантской метagalактике, существование которой длится миллиарды лет, что соответствует гуманной норме и становится реальностью благодаря человечеству, вернувшему бытие к его глубочайшим основам.

Гёте сказал в разговоре с Эккерманом: для того, чтобы стать великим человеком, надо получить великое наследие, так Наполеон получил в наследство Французскую революцию, а Лютер – поповское мракобесие. Мы получили в наследство еще более грандиозную революцию, чем Французская, и не меньшее массовое затемнение сознания, чем во времена Лютера. Но нынешние «властители дум» предпочитают носиться со своими стеклянными бусами, не замечая сундуков с настоящими драгоценностями. Лукач и Лифшиц показывают пример того, как можно этим наследием пользоваться. Хочется верить, что уже в наше время найдутся люди, которых воодушевит пример их удивительной и плодотворной дружбы – одного из реально-идеальных явлений Октябрьской революции. А если нет, то свет этой дружбы и смысл рожденного ею марксистского Логоса дойдет до тех, кто придет после нас. Может быть, по этой причине Лифшиц хотел взять эпитафией для своего главного, не написанного им труда какие-нибудь слова Иоанна Предтечи.

В настоящем издании впервые публикуются все известные письма Лукача Лифшицу и Лифшица Лукачу. Оригиналы всех публикуемых писем находятся в Архиве Д. Лукача (Венгрия).

Копии писем по просьбе вдовы Мих. Лифшица Л.Я. Рейнгардт были переданы ей Архивом Д. Лукача и хранятся ныне в Архиве РАН. Сотрудники Архива Д. Лукача при любезном посредничестве сотрудницы Венгерского культурного центра в г. Москве Е. Варги предоставили ряд материалов для подготовки настоящего издания, чтобы уточнить те письма, которые неясно читались в копиях.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.